

**Светлана Шнитман-МакМиллин:** Георгий Николаевич Владимов выехал в Германию 26 мая 1983 года, официально – для чтения лекций в Кельнском университете. Но он понимал, что перелетев границу Советского Союза, он приземлится в эмиграции. Среди его самых близких друзей были Лев Зиновьевич Копелев и Раиса Давыдовна Орлова, также выехавшие в Германию для чтения университетских лекций в 1980 году и лишенные гражданства в 1981 году. Владимов всегда отзывался о них с огромной теплотой и любовью:

*“Когда казалось, что ареста и лагеря не избежать, и я был готов к этому, но только очень боялся за Наташу, возник Лев Копелев, которым мы и знакомы-то практически не были. Он нам звонил и посылал телеграммы из Германии, где поднял на ноги Генриха Белля, Вилли Брандта, и кого только мог. Через него и устроилось приглашение в Германию. И когда мы ехали, я очень полагался на то, что Копелев будет близко. Я ему часто звонил, советовался. И очень пожалел впоследствии, что не послушался его: Копелев советовал принять приглашение «Свободы» и не брать журнал «Грани», не связываться с НТС.*

*Их дом в Кельне, пока Рая Орлова была жива был для нас прямо прибежищем души. Мы очень любили к ним в гости ездить. Но эта эпоха кончилась с Раиной смертью, хотя этот Казанова из Гулага еще два раза женился».*

*Георгий Владимов<sup>1</sup>*

В году 1983 году исследовательский институт Forschungstelle Osteuropa, Бременского университета в Германии заказал Раисе Давыдовне Орловой ряд интервью с видными деятелями русской культуры, оказавшимися в эмиграции. Иногда такие интервью брал Копелев, как это было и в случае Г. Н. Владимова.<sup>2</sup>

При интервью, которое приводится ниже, присутствовала Наталия Евгеньевна Кузнецова, жена Владимова.

**Беседа Льва Копелева с писателем Георгием Владимовым.  
14.12/1983 года**

**Лев Копелев ЛК  
Георгий Владимов: ГВ**

---

<sup>1</sup> Записано со слов Георгия Николаевича Владимова во время его пребывания в Лондоне.

<sup>2</sup> Это интервью находится сейчас в архиве Forschungstelle Osteuropa Бременского университета (01-003/W/LK/399-407). Я очень благодарна архивариусам Марии Классен и Габриэлю Суперфину за их бесценную помощь в подготовке этой публикации

**ЛК:** Георгий Николаевич, когда вы впервые встретились с таким явлением, как Самиздат? Что вы помните о своих первых встречах с Самиздатом?

**ГВ:** Моя очень удачная встреча с Самиздатом была в 1964-65 годы, когда я прочитал повесть Булгакова «Собачье сердце». Это значительное произведение, и оно произвело на меня очень сильное впечатление. Я сразу понял, что такая вещь не могла быть напечатана в советских издательствах, и что Самиздат – дело серьезное. В нем плавают крупные литературные киты и большая литература. Таким образом, я сразу признал, что Самиздат есть вещь необходимая, как дополнение, альтернатива советскому печатанию.

Мы читали рассказы Шаламова, хотя это не был для меня Самиздат. Он приносил свои «Колымские рассказы» в редакцию «Нового мира». Почти все рассказы Шаламова я читал, еще когда работал в «Новом мире».

Сначала Самиздат - это были мутные машинописные копии, которые размножались и распространялись в Москве. В основном, воззвания и диссидентские письма.

Читали также Цветаеву, Гумилева, уже переплетенные сборники. В 1964 мы читали в Самиздате «По ком звонит колокол» Хемингуэя, который был переплетен вместе с Тендряковым. Это была, пожалуй, наша самая первая встреча с «переплетенным» Самиздатом, то есть перепечаткой на машинке романа Хемингуэя «По ком звонит колокол». Он по каким-то соображениям долго-долго не печатался в Советском Союзе. Кажется от Хемингуэя требовали каких-то купюр, что-то оттуда выбросить, по-моему, сцены, с Марти или упоминание о Долорес Ибаррури. А поскольку Советский Союз был единственной страной, где можно что-то запретить в области литературы, то французские, кажется, коммунисты запрещали эту книгу у нас издавать.

Вторым опытом, как я уже сказал, было перепечатанное «Собачье Сердце» Булгакова, а третьим - книга Мороза<sup>3</sup>, которую, я, кстати, передавал на Запад, уже принимая практическое участие в Самиздате.

**ЛК.** Это уже следующий вопрос: расскажите, пожалуйста, какое непосредственное участие вы сами принимали в Самиздате?

---

<sup>3</sup> Валентин Яковлевич Мороз, украинский историк, поэт и прозаик, представитель украинского национального движения, диссидент. В сентябре 1965 года Мороз был осужден по статье 62 Уголовного Кодекса УССР (антисоветская агитация и пропаганда) на 4 года лагерей. Наказание отбывал в ИК ЖХ-385-17-А в Мордовии. Через какое-то время в Самиздате, еще во время пребывания Мороза в заключении, появился его очерк «Репортаж из заповедника имени Берия», о котором и говорит Владимов. Этот очерк-памфлет был издан на Западе отдельной карманной книгой, вероятно, для завоза в Советский Союз: Валентин Мороз, «Репортаж из заповедника имени Берия», Б.м. : б.и., 1967 (указанный год издания вызывает сомнения, так как очерк был написан в 1967 году). Текст Валентина Мороза был опубликован в «Новом журнале», Нью Йорк, 1968, номер 93, стр. 172-203; а также в книге «Самиздат века», Полифакт, Минск-Москва, 1997, стр.184-200

**ГВ.** К нам попала книга Мороза. У нас были знакомые, которые могли передать ее на Запад. Вручали мы ее, как сейчас помню, под большой слезкой. Была назначена встреча с иностранным журналистом, который приехал на своей машине. И как только мы ее передали, вдруг со всех сторон появилась милиция. Нас стали спрашивать, что мы тут делаем, хотя мы находились во дворе собственного дома. Спасла положение жена журналиста, быстренько спрятавшая эту рукопись под сидение. И когда милиция начала внутрь заглядывать, там на поверхности ничего не было видно, а обыскивать иностранную машину они не решились. Там мы впервые приняли активное участие в Самиздате.

Когда появился «Архипелаг Гулаг» Солженицына (это был Тамиздат), то мы эту книгу дали людям, которые сделали с нее ксерокопии. Точно также я давал для ксерокопирования номер «Граней» с «Верным Русланом».

**ЛК.** Расскажите об истории с «Верным Русланом» в Самиздате?

**ГВ.** В 1963 году я написал первый вариант «Верного Руслана». Это был рассказ, 62 страницы. И сразу же этот рассказ из комнаты машинисток попал в Самиздат. Машинистки его распечатали, но, чтобы не подводить автора, отрезали верхнюю часть первой страницы с именем, так что рассказ попал в Самиздат анонимно. Несколько раз он ко мне возвращался. Я с интересом наблюдал, какие там происходят изменения и вариации. Там были какие-то фразы, чувствовалось: не мои. Видимо, они были плохо или неясно отпечатаны, какая-то восьмая копия была, и переписчик дополнял по памяти, и не всегда точно.

Интересно, что рассказ этот приписывали вначале Солженицыну. Но поскольку Солженицын в то время выступал в каких-то клубах институтских, его несколько раз просили прочитать «ваш знаменитый рассказ о собаке». Он отвечал, что это не его рассказ, и называл имя автора.

**ЛК.** Называл?!

**ГВ.** Интересно вот что. Когда Солженицын отказался от авторства, рассказ стал как бы бродячим сюжетом. Считалось, что это какая-то записанная легенда, что сюжет никому не принадлежит, что это запись чьего-то устного рассказа. Интересно, что 12 человек написали свои вариации на тему о лагерьной собаке. В том числе и Александр Яшин, который принес свой рассказ в журнал «Москва». Но об этом стало известно в «Новом Мире», где находился мой рассказ. Из редакции в «Москву» позвонили и объяснили, что это - не бродячий рассказ, а рукопись, которая должна у них идти в печать. Яшин свою рукопись забрал, и кажется, уничтожил.

12 человек написали о Руслане. Таким образом, когда я приступил к этому сюжету, я был 13-м. Я думаю, что если это мне больше других удалось, то потому, что это был мой сюжет. Я его выносил, я его породил. И для других

это был все-таки сюжет приبلудный, чужой, который их поразил эффективностью, но они были не в состоянии его разыграть. И не чувствовали всех возможностей этого сюжета.

Когда я принес этот рассказа в «Новый мир», он всем очень понравился, его хотели его напечатать. Но неожиданно уперлось дело в Твардовского, который его прочитал после всех, вызвал к себе автора и сказал: «Я могу его тиснуть и в таком виде. Но мне кажется, что Вы не использовали всех возможностей, не разыграли сюжет. Здесь таится гораздо большая тема, чем вам сейчас это кажется. Я лично собак не люблю, но вы напрасно сделали его таким полицейским дерьмом и смеетесь над этим псом. А ведь у пса своя трагедия».

Он был прекрасный читатель. Прежде чем он был прекрасным поэтом и замечательным редактором, он был первостатейный читатель. Он умел вычитать то, чего автор еще не сказал, но мог сказать, где-то каким-то мозжечком чувствовал то, что автор выразить не смог. А Твардовский это моментально ухватывал: какая есть еще возможность, и какие передо мной стояли вопросы. Он все как-то угадывал, прекрасный был читатель.

И он всегда деликатно.... Когда члены редакции начинали давать прямые советы: делайте так-то, пожените своего героя на такой-то героине и т.п., Твардовский всегда их останавливал и говорил: «Только ради Бога, ничего не советуйте, потому что автор о своем произведении, о своем герое знает в тысячу раз больше, чем мы все вместе взятые». Он не советовал, а просто говорил, на какой стадии находится произведение, что он в этом видит нечто большее. А уж как вы там будете выстраивать сюжет – это ваше авторское дело. Это было, конечно, самое ценное.

Он отметил излишний антропоморфизм, потому что изображалась не столько собака, сколько вохровец в собачьей шкуре. Это ему очень не понравилось, и он предложил этот рассказа несколько "особачить", как он выразился, то есть побольше внести туда живого пса: «...проникните в собаку, в ее трагедию, в ее мир...».

Пока я «осабачивал», прошел год-полтора примерно. За это время сняли Хрущева, и закрылись ворота лагерной темы. Ничего нельзя было больше в «Новом Мире» о лагере печатать, и Твардовскому осталось только развести руками. Так появился второй вариант. Интересно, что в Самиздате он не нашел пристанища, так как рынок был уже забит первым. И когда говорили, что есть новый, никто не хотел его опять переписывать. Второй был лучше, но поражающего действия первого тиража он не имел.

Таким образом, эта повесть доживала до 1974 г., когда издательство «Посев» меня нашло и предложило ее опубликовать.

**ЛК.** Следующий вопрос: Тамиздат. Когда ты столкнулся с Тамиздатом, и как рассматриваешь соотношение Тамиздата и Самиздата и в своем опыте, и в литературном процессе..

**ГВ.** Тамиздат – понятие, которое вступило в русскую литературу сразу после Октябрьской революции. Сразу же стало ясно, что какие-то писатели в России печататься больше не могут. Поэтому в первые же годы советской власти возникла проблема Тамиздата. С точки зрения читателя, и Бунин, и Куприн, и Бердяев, Ремизов, Пильняк – все это был Тамиздат.

В возрасте 26 лет я наблюдал уход больших писателей в Тамиздат. Я лично столкнулся с этой проблемой, когда работал в «Новом Мире», и у меня в редакционном столе долго лежал роман Пастернака «Доктор Живаго».

Начальство колебалось: печатать-не печатать, давайте подождем. В конце концов, вернули рукопись Пастернаку. В 1957 году, когда в Москве проходил IV Всемирный фестиваль молодежи и студентов, пришел член редколлегии Борис Лавренев и стал рассказывать, что Борис Пастернак передал рукопись своего романа некому Фельтринелли, итальянскому коммунисту, издателю. Тот снял копию и уже объявляет о том, что он будет печатать по-русски. Почему-то Борис Лавренев, человек добрый (не злой, по крайней мере), говорил очень зло и язвительно. Помнится такая фраза: «...если Пастернак не понимает, что это не шуточки, то не будет больше Бориса Пастернака».

Все настроились сразу против Пастернака - такая была реакция. И я думаю, что поэтому, когда возник этот скандал с исключением, это судилище, то там поучаствовали люди, от которых трудно было бы этого ожидать: Борис Слуцкий, Вера Панова, Владимир Солоухин, да и сам Сергей Сергеевич Смирнов. Список ораторов был довольно пестрым.

Как я к этому относился? Я чрезвычайно молод был. Я понимал смысл всей этой травли, которая велась ушастыми из «Литературной газеты». Кочетов был тогда редактором, и всю неделю «Литературка» поливала Пастернака. Я был свидетелем такого же «полива» Дудинцева год назад той же «Литературной Газетой», так что я это воспринимал параллельно, как явления одного ряда.

Единственное, когда я почувствовал к Пастернаку не то, чтобы неприязнь, а как-то стало за него обидно, когда он отказался от Нобелевской Премии. И как-то я подумал: «Будучи на вершине славы, зачем же проявлять такую слабость? Еще неделю перетерпеть бы!».

Но я тогда, как и многие, не заметил одного факта. Дело в том, что в своем письме на имя Хрущева, Пастернак просил не лишать его Родины и говорил, что он отказывается от Нобелевской премии. Но он не отказывался от самого «Доктора Живаго»! Это чрезвычайно важно, но этого никто не заметил. Он ни словом не раскисался в том, что он написал эту книгу, и в том, что он напечатал ее в Тамиздате. Это стало заметно, вернее, потом мы об этом вспомнили, когда в «Литературной газете» появлялись раскаяния, вернее, покаяния наших друзей, не выдержавших давления, которые отчасти отказывались от своих рукописей. Я считаю, что это уже недостойно писателя - говорить о том, что рукопись не доработана, что они не отвечают за нее, так как она давно написана. Они всячески отходили от своего собственного

детища. Пастернак этого не сделал.

Второй раз мы столкнулись с таким явлением, как Тамиздат, уже в масштабах всей страны, когда стало известно об аресте Даниеля и Синявского. И вот здесь, мне кажется, начальство литературное и, вообще, власть сделали большую ошибку. Помня судилище над Пастернаком, которое было в самую пору оттепели, они рассчитывали на всенародное осуждение этих двух, как они их называли, отщепенцев и перевертышей, которые печатались под псевдонимом. Это, действительно, на многих писателей произвело неприятное впечатление, что люди прятались под псевдонимом. Но когда двое подсудимых впервые в истории политических процессов в России не признали себя виновными, к ним вспыхнуло горячее сочувствие. И здесь неожиданно для властей около ста человек выступило в их защиту. Одно письмо подписали 83 писателя во главе с Паустовским и Эренбургом. Они просили отдать писателей на поруки. И было еще наше письмо, письмо молодых, которое не попало в "Белую книгу" Гинзбурга<sup>4</sup>, просто по нашей дурости и наивности.

А дело было так. Ко мне подошел Василий Аксенов в клубе литераторов и спросил меня: "Как тебе все это нравится?" Тогда шел как раз этот суд. Я сказал, что мне это не очень нравится. Он сказал: "Надо выступить. Как ты думаешь?" Я сказал: "Конечно, надо выступить". Причем оба поняли "надо выступить" - конечно же, в защиту! И мы тут же сходу пошли в редакцию "Юности", где никого не было, кроме Гладилина. И мы втроем быстренько состряпали письмо... Мы составили письмо, в котором просили вообще не судить Синявского и Даниэля, так как они есть писатели. Нельзя судить писателя за слово - такова была наша просьба к Косыгину, Подгорному и Брежневу.

Мы изготовили три экземпляра и послали по адресам, не догадавшись оставить себе один экземпляр для прессы. Подписали 20 человек: Вознесенский, Евтушенко, Рождественский, Василь Быков, Окуджава, Белла Ахмадулина, Гладилин, мы с Аксеновым, Муля Дмитриев и другие.

За это письмо Шолохову было «стыдно». А за то письмо 83-х писателей «вдвойне стыдно», как он говорил потом на съезде<sup>5</sup>.

Потом нас вызывали в ЦК, где Барабаш<sup>6</sup> нас прорабатывал, доказывал, что и Запад воспринял Даниеля и Синявского очень плохо, и никто их там не собирается защищать. Вызывали нас поодиночке. Мы все сказали: знаете, мы выступили, а дальше - вам решать.

Тогда меня впервые удивило - почему они не читают и не говорят о тексте самого письма, а только смотрят на подписи: кто раньше подписал, кто

---

<sup>4</sup> В 1966 году Александр Гизбург составил сборник под названием «Белая книга», по делу писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля. «Белая книга» была разослана во многие официальные инстанции, депутатам Верховного Совета СССР и опубликована в издательстве «Посев» в 1967 году.

<sup>5</sup> Речь идет о выступлении М. А. Шолохова на XXIII съезде КПСС в 1966

<sup>6</sup> Юрий Яковлевич Барабаш был консультантом Отдела культуры ЦК КПСС

позже. Первая встреча с нашей партийной бюрократией.

Третий этап, я считаю, Тамиздата, хотя художественно не очень ценный, но принципиально важный - это издание «Метрополя»<sup>7</sup>, предпринятое Аксеновым, Битовым, Искандером. И еще несколько старших там было писателей, как Липкин, Лисянская.

Что тут было принципиально важно? Здесь авторы себя не ставили в положение, что они будут как-то защищаться тем, что они утратили контроль над рукописями. Тут об этом не могло быть и речи. Они сами собрали рукописи, сами составили сборник, сами переплели его, художник Борис Мессерер его оформил. К Западу прибегли только за типографией, а все остальное было составлено в СССР. Это был уже какой-то Тамиздат в Самиздате. Такое интересное сочетание. Первая попытка писателей - издаться во что бы то ни стало.

Сам я принял участие в Тамиздате, как автор, в 1975 году, когда в 96-м номере журнала "Грани" вышла повесть "Верный Руслан". Тогда еще в Советском Союзе были люди типа Сергея Сергеевича Смирнова, которым было не наплевать, с чем же мы останемся. Писатели уезжают в эмиграцию, писатели уходят в Тамиздат. Он был обеспокоен такой утечкой мозгов. Он меня уговаривал не то, чтобы покаяться, об этом не могло быть речи, а просто выступить в «Литературной газете» и сказать, что я живу в России и что я не хочу покидать мою страну и т.д. Так возникло мое интервью в «Литературке» с Феликсом Кузнецовым. Это было 18 февраля 1975 г. В это время шла передача «Руслана» по Би-би-си. И в редакцию «Литературной газеты» шли многие письма с вопросом: как это понять? С одной стороны - кажется, это перед 26-м<sup>8</sup> съездом КПСС происходило - выступает писатель в «Литературке», составляет обоймы, раздает похвалы и т.д. А с другой стороны, а в это же время идет передача его тамиздатской повести.

Но было еще более удивительно, после этого вышла книжка "Три минуты молчания", которую семь лет не издавали. И если бы не было «Руслана», она бы так и не вышла, так бы и лежала. А тут литературные власти поспешили. Хотели автора оставить в советском литературном потоке, приглашали вернуться в советскую литературу. И вышла книжка, мое последнее опубликованное произведение в Советском Союзе в конце 1976 г.

Потом Сергей Сергеевич Смирнов умер. Некоторое время был Луконин, вскоре, кажется, через три месяца, тоже умерший. Пришел Феликс Кузнецов. И пошла *обычная наша империя*, писательская империя секретарей. И этим секретарям уже было на все наплевать; останемся мы с кем-то, не останемся. Я это все быстро почувствовал и продолжал быть автором Тамиздата.

---

<sup>7</sup> «Метрополь» был издан тиражом 12 экземпляров в Москве в декабре 1978 года самиздатским способом. В 1979 году он был опубликован американским издательством «Ardis Publishing».

<sup>8</sup> Владимов ошибся, в 1975 году в Москве проходил XXIV съезд КПСС

Напечатал еще две вещи<sup>9</sup>.

Но в 1977 г, пошел разгон писателей-тамиздатчиков. Были исключены Лев Копелев, Чуковская, Войнович, Корнилов. Какая-то была массовая «демобилизация». Из Союза начали выгонять. А я был принят после «Руслана» в Пен-клуб. Одна из первых заповедей членов Пен-клуба - защищать своих коллег. Никаких способов защитить исключаемых у меня не было, и во мне стало созревать желание просто уйти из этого Союза, [который мне ничего не дал, даже за границу ни разу не послал – зачёркнуто].

И тут представился предлог. 1977 году я получил приглашение из норвежского издательства «Гилдендаль»<sup>10</sup> на Франкфуртскую книжную ярмарку. Приглашение от меня, конечно, скрыли. Для меня этот предлог подоспел вовремя - я к нему придрался и вышел из Союза. Так кончает тамиздатчик.

Возвращение писателя, печавшегося на Западе, обратно в официальную литературу очень трудно по понятным причинам, но и чисто психологически, поскольку он отведал свободы. У меня четыре слова поправили в "Руслане", и то эти поправки были в лучшую сторону. Такое ощущение свободы было просто опьяняющим. Вернуться обратно в нашу цензуру, в эту редактуру, где от тебя требуют или треть выбросить, или выбросить самое любимое - то, ради чего ты, собственно, писал. Даже выбросить то, чем твоя вещь понравилась в редакции - вот что удивительно! Даже в "Новом мире" такое происходило. Вернуться к этому чисто психологически очень трудно, а вернуться официально – значит, проползти на коленях от порога до стола начальства. Так просто нельзя! Надо совершить что-то такое, чтобы простили. Так, к несчастью, наш приятель Искандер написал рассказ для «Литературной газеты». Рассказ приняли. А потом так изувечили, так искалечили рассказ, что он его сам не узнал. Это рассказ о море, о лодке...<sup>11</sup>

**ЛК:** Когда мальчишку топили? Очень сильный был рассказ, я знаю его в рукописи.

**ГВ:** Надо сравнить с текстом «Литературки». Там что-то ужасное было. Фазиль ощутил большой психический удар, так что даже потом попал в психушку. Гордый восточный человек, он этого не мог вынести. Так что возвращение всегда связано с какими-то унижительными процедурами. По-настоящему ни один не вернулся. Туда уходят надолго.

---

<sup>9</sup> Пьеса «Шестой солдат», «Грани», Франкфурт-на-Майне, «Посев», 1981, номер 121, стр 5-106; «Не ображайте вниманья, Маэстро. Рассказ для Генриха Белля», «Грани», Франкфурт-на-Майне, «Посев», 1982, номер 125, стр. 5-58;

<sup>10</sup> «Gyldendal» - датское издательство, хотя в нем печатаются и книги на норвежском языке.

<sup>11</sup> Речь идет о рассказе Фазили Искандера «Мальчик-рыболов»: см. Искандер, Фазиль, Собрание, «Путь из варягов в греки», М. «Время», 2003, 665-678

Также было с Битовым<sup>12</sup>. Не всегда большая вещь имеет успех. Конечно, если она имеет успех на Западе, она защищает писателя. Его стараются не то, что не трогать, но как бы не замечать, не пристаю́т к нему. Но бывает так, что писатель вложил много надежд своих, много своих трудов, пота и крови, соков и мозга, да и вещь написал замечательную - "Пушкинский дом". К сожалению, мне так кажется, что она все-таки рассчитана на русского читателя и на очень умного и интеллигентного читателя, который очень хорошо знает русскую литературу. Там прелестные полунамеки, ссылки или полуссылки на известнейшие цитаты из русской литературы. В переводе на другой язык они совершенно теряются, они непонятны: в чем тут смысл - этой фразы, этого абзаца, этой остроты. Тут необходимо иметь не только хорошего переводчика, а необходим дальнейший подстрочный комментарий, где сказано, где какая игра слов, где и что подразумевается. Тем более, что главный герой его - это литературовед.

Битов не имел ожидаемого, заслуженного успеха... Как и Владимир Корнилов<sup>13</sup>. И в этом случае автор попадает в ужаснейшую ситуацию.

Вещи, животрепещущие для русского читателя, на Западе такого эффекта не производят. И писатель оказывается между молотом и наковальней: с одной стороны, с Запада никто не поддерживает, шума нет, а здесь он видит усмешливые рты: ну, что ж, придется, видимо, возвратиться!

Тут происходит такой психологический удар. Я замечал это и по Корнилову, и по Искандеру, и по Битову. Они вступают в некую полосу творческого кризиса, который может продолжаться несколько лет. Тут печататься они уже не могут, потому что и цензура будет придира́ться к ним сильнее, а потом этот глоток свободы, опьяняющий, отравляющий - они же глотнули его!

**ЛК:** Как Тамиздат влияет на Самиздат? Есть обратное влияние, как ты считаешь?

**ГВ:** Некоторое время они существовали параллельно и лучшие вещи Самиздата попадали в Тамиздат, как, скажем, «поэма» Венедикта Ерофеева «Москва – Петушки», прекраснейшая вещь. Она просто рождена Самиздатом и Тамиздатом. Сначала она ходила лет пять или шесть. Настолько неизвестен был автор, что никто не пытался его отыскать. Считали, что это псевдоним,

---

<sup>12</sup> Роман Андрея Битова «Пушкинский дом» был впервые напечатан в американском издательстве «Ardis», Ann Arbor, Michigan, в 1978 году

<sup>10</sup> Ряд произведений Владимира Корнилова были напечатаны за рубежом: «Девочки и дамочки» «Грани», № 94, 1974; «Без рук, без ног», «Континент», № 1, 1974 и № 2, 1975; Демобилизация, Frankfurt/M., «Посев», 1976

что это чья-то шалость, какого-то профессионального писателя, укрывшегося под чужим именем. И, в конце концов, она была напечатана на Западе<sup>14</sup>.

Я не случайно сказал, что ее приняли за чью-то шалость, какого-то известного писателя, потому что вещь была не ученическая, а с первого раза - уже мастерская. Кажется, что легко написать исповедь пьяного человека. Тут большая изоощренность видна, и сильная рука автора, и его знакомство с русской литературой очень большое. Он стоит скорее на традиционной почве, нежели на авангардистской. Он называет свою вещь «поэмой», вспоминает там «Мертвые души». Главы от Москвы до города Петушки он называет по названиям станций, и вспоминается «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева. Много там таких переключек с уже известной нам русской традицией, с русскими сочинениями 19 века. Так шагнул человек прямо в мастерство, и если бы не Самиздат и не Тамиздат, вещь осталась бы совершенно неизвестной.

Как же влияет Тамиздат на Самиздат? Я думаю, что он его в последние годы уже подавил, поглотил. Значение Самиздата стало падать постепенно с появлением книжек, с появлением уже готовой печатной продукции...

**ЛК:** А не кажется тебе, что качественно Самиздат изменился, что в Самиздате теперь больше периодика, уже не художественная литература?

**ГВ:** В Самиздате ходят различные письма, воззвания, письма протеста или в чью-то защиту. Можно назвать Самиздатом перепечатку, ксерокопирование Тамиздата. Где-то в Грузии взяли и набрали первую часть «Архипелага» типографским способом, и так эта книга ходила сверстанная, но не переплетенная. Продавали ее рублей по 20. Как уж ухитрились, непонятно!

Но в целом, значение Самиздата, как единственной отдушины, конечно, упало, и художественная Литература уже, действительно, является нам в виде книжек и журналов, как «Время и мы», «22», «Континент», **[«Грани» и «Синтаксис»—зачеркнуто]**—Представить себе какие-то статьи сначала в Самиздате, а потом в Тамиздате как-то уже нельзя. Они сразу попадают уже в Тамиздат. Просто изменилась психология автора. Раньше, печатая свою вещь, он ее широко раздавал читать. Теперь наоборот, он ее приберегает до того случая, когда представится возможность ее переправить, потому что дать читать - значит навести на себя след, слежку за каналами, за контактами и т.д. Тут автор становится уже конспиратором, так как настраивается психологически на издание за рубежом.

В связи с этим значение Самиздата стало падать, но, конечно, нельзя отрицать и сейчас его революционного на нас действия, которое продолжалось

---

<sup>14</sup>Поэма Венедикта Ерофеева «Москва-Петушки» была впервые опубликована в израильском альманахе «Ами» в 1973 году, а затем французским издательством «YMCA-PRESS» в 1977 году.

в течение нескольких лет.

Интереснее проследить влияние Тамиздата на Россию. Дело в том, что он поступает в микроскопических лозах: тысяча - полторы тысячи. Тем не менее, он свое действие производит. Он производит свое действие и на читателей, потому что все-таки есть какая-то часть читателей, которые его знают, умеют его найти, раздобыть, получить либо для чтения, либо эту книжку купить. Существует черный рынок и люди, которые этим профессионально занимаются и заламывают за книги довольно большие деньги. «Руслан» стоил 100 рублей в супере и 50 руб. стоила маленькая красная книжка. На черном рынке обычно примерно такие цены: 50, 70, 100 рублей. Первый том «Архипелага» сначала стоил 150 рублей, потом, по мере поступления - 50 рублей. А «Руслан» в конце уже 30 рублей стоил. Значит, уже много экземпляров поднакопилось, то есть существует читатель, который все-таки читает Тамиздат. И он повышает свой критерий к писателю, требует от него уже большей правды.

С другой стороны, писатели почти все (я думаю, 80%) читают Тамиздат, и он для них имеет подстегивающее значение. Они видят: вот уровень правды, на который они могут выйти, уровень обобщения, смелости, свободы письма. И в то же время для каждого писателя теперь Тамиздат, как корабль, плацдарм, на который всегда можно отступить. И рукописи его становятся смелее. И если мы возьмем последние предандроповские годы, очень осмелела официальная литература. Стали появляться вещи, относительно которых меня сейчас спрашивают: «Как это могли напечатать?!» Вещи Распутина, Можаяева последняя вещь «Полтора квадрата», Айтматова, Трифонова «Старик» или «Дом на набережной».

С одной стороны, и писатель стал смелее, с другой стороны, и начальство не хочет упустить писателя, потому что понимает, что писателям есть куда уходить. Вещь появилась в редакции - и всегда можно сделать вид, что она ушла сама куда-то. И начальство тоже хочет сохранить официальную литературу. Им нужен отряд писателей, еще не переведших черту. Так что свое революционное действие на писателей Тамиздат производит.

Другое дело, конечно, что в самом Тамиздате не всегда плавают шедевры. Очень много поступает и дребедени, бездари, где чувствуется, что они не вынесли тяжкого бремени свободы.

Писатель – это самоограничение. Талант в том и состоит, что ты сам отвечаешь за свое слово. Больше тебя никто не поправит, поэтому втрое должен быть бдителен к самому себе. Потому что нет Аси<sup>15</sup>, которая скажет: «Жора, как вы могли такое написать?». Нет Твардовского, который скажет: «Ну, что это такое? Это вообще - Детгиз! Этого я не могу слышать!». Этим наставников за тобой уже нет, твоя рука – последний твой цензор, последний твой редактор. Многие этого не выдерживают. В частности – Лимонов. Его роман «Это я – Эдичка» весь - вне традиции русской литературы, вне ее

---

<sup>15</sup> Анна Самойловна Берзер (1917-1994) – литературный редактор «Нового мира» в 1958-1971 гг.

социальности, благородства, сдержанности. Такой авангард я не приветствую.

Надо еще сказать, что огромное значение имеет мемуарная литература, которая почти целиком расположилась в Тамиздате. Мемуарная литература особенно уязвима.

**ЛК:** Началось с Самиздата: с Надежды Яковлевны, с Гинзбург.

**ГВ:** Да, «Крутой маршрут» Гинзбург, две книги Надежды Мандельштам, «Хранить вечно» Льва Копелева, Ивинская о Пастернаке...

Если прозаик еще может пойти под нажимом на какие-то уступки, то мемуарист, в принципе, не может! Как он может уступить, то есть изобразить факт не так, как он был или, вообще, упустить какой-то фактор. Мемуарная литература особенно страдает не столько от официальной нашей критики, сколько от редакции и цензуры. Она воссоздаёт живую память, время, восстанавливает историю, и, конечно, она целиком расположилась в Тамиздате. Любопытно, что даже официальные литературоведы уже начали понемножку ссылаться на тамиздатские вещи.

Наблюдается переход из Самиздата в Тамиздат, но, главным образом, интересно, что сохраняется мемуарная литература, т.е. сохраняется наше время. Уже ссылки идут на Ивинскую, которой нет в советской литературе. Считается даже хорошим тоном, щегольством ссылаться на нее в диссертациях, в рефератах.

**ЛК:** Соотношение Самиздата - Тамиздата сегодня и обратное влияние на литературу, даже печатающуюся. Ты привел несколько замечательных примеров. У тебя есть повесть или рассказ об авторе Тамиздата, посвященный Беллю<sup>16</sup>. Расскажи об этом, ведь это твое творчество.

**ГВ:** Почему этот рассказ появился... Мы, действительно, заметили за нами слежку из противоположных окон. Там поселились какие-то странные люди. Все, весь квартал их заметил. Мы стали выяснять, кто это такие. Все время они закрывались какими-то занавесками, никогда форточку не открывали, только поздно, поздно ночью. А потом нам сказали дворник сказал: "Странные, - говорит - люди: почту не получают, бутылок не сдают". Мы тут поняли, что чекистами была сделана колоссальная ошибка: конечно же, русский человек должен бутылки сдавать!

И тогда я стал думать: а как же те люди, которых оттуда выселили или переселили в другие комнаты? Как же они? Они же знают меня, знают, что я двадцать лет живу в этом доме, хожу по этому двору, где сажал елки и деревья. Никто из них меня не предупредил. Даже милиция меня иногда

---

<sup>16</sup> Речь идет о рассказе «Не оставляйте стараний, маэстро». Генрих Белль активно помогал Владимову уехать, организовав приглашение Кельнского университета.

предупреждала, а соседи - нет!

Стал я над ними раздумывать, размышлять и понял, что есть страх. Действительно, такое давящее чувство, которое владеет нами шестьдесят с чем-то лет. Нужно быть адвокатом этим людям, обвинить их - легче всего.

И вот так стал рождаться сюжет «из окна» - напротив моих окон. Ну, а так как герой-то - я сам, автор Тамиздата, то так и возник писатель, который сидит в противоположном окне.

А перед этим у меня был обыск, который продолжался восемь часов. Шесть гебистов и два понятых, тоже восемь человек, шарили по всей квартире и, естественно, разговаривали. Мы общались. Человеческие существа не могут совсем без общения. Я наблюдал этих восьмерых человек в течение всего рабочего дня. Там есть фразы, целиком вошедшие в рассказ, просто от живого капитана Копаева. Он мне втолковывал, что некоторые факты нашей истории пора уже забыть. Мне очень нравилось...

**ЛК:** Факты забыть?!

**ГВ:** «Некоторые этапы нашей истории пора бы уже забыть». Потом смотрели отчеты издательств, которые поступили. Денег наличных у нас не было, только отчеты о том, что поступило в немецкие банки. Они смотрели на эти бумажки и рассуждали о том, как растет их подопечный. Из всего этого родился веселый такой рассказ.

**ЛК:** Ну, веселье - это не главная его черта.

**ГВ.** Там списано немножко с наших соседей, эти вот персонажи, эта семья<sup>17</sup>. Я представлял их себе на месте людей, которые сейчас там живут с наблюдателями - чекистами.

**ЛК:** Так что появилась уже литература об авторах Тамиздата. Ты открыл тему! Ты, вообще, открыл новую страницу, когда «Три минуты молчания» были напечатаны сначала в «Новом мире», а потом в издательстве «Посев»<sup>18</sup>.

**ГВ:** Надо сказать, что постепенно русский читатель (это непревзойденный читатель; ни в одной стране такого читателя нет!) как-то перестает даже замечать, где напечатано. Просто в разговоре упоминает произведения и имена даже независимо от того, что появилось в «Континенте», а что - в «Дружбе народов».

Сравнивает между собой различные произведения, не считаясь с тем,

---

<sup>17</sup> Владимов говорил мне, что прототипами были родители Александра Мойсеевича Пятигорского, с которыми произошла история, взятая в несколько видоизмененном виде в основу сюжета, после того, как Георгий Николаевич заметил в окне напротив «мельканье рук» и подумал о слежке. История была рассказана ему женой Пятигорского Татьяной. Пятигорские были соседями Владимовых по дому.

<sup>18</sup> Роман был напечатан первый раз в «Новом мире» в 1969 году, а потом в «Посеве» в 1982 году.

имел ли автор больше свободы или меньше свободы. А просто трезво; что собой представляет произведение. Даже не доходит до такого спора; это вот - подцензурное, а то - свободное. Оценивается трезво, и все больше и больше все-таки предъявляются требования к Тамиздату, понимая, что «там», имея какие-то возможности, нужно их использовать, написать без дураков. Читатель уже отличает спекуляцию от настоящей вещи. Раньше ведь хвалили всех, лишь бы только ругали советскую власть, или Андропова, Брежнева, лишь бы были разоблачения. Теперь это считается дешевкой.

Тамиздат, я считаю, прежде всего, вошел в жизнь русского советского читателя именно потому, что к нему стали предъявлять жесткие требования, как *к литературе*: хватит играть в свободу - осуществляйте свободу! Вот такое отношение.

Я считаю, что это здоровое качество каждого движения, если оно, наконец, начинает само себя критиковать. Сейчас будем печатать роман одного писателя<sup>19</sup>. Он пишет о диссидентах, об ошибках, о неудачах. Этот человек имеет право так говорить; он сам отсидел и сидит сейчас. Он подвергает критике какие-то аспекты этого движения. Во-первых, и он имеет право, и демократическое движение, наконец, может само себе предъявить счет.

**ЛК:** Это признак здоровья. А укрывательство – признак слабости, болезни.

**ГВ:** В конце концов, можно сказать, что литература существует, как двуконь, как говорил Гуль. Есть два потока: тамиздатский и цензурный. Но я думаю, что поскольку един читатель, то едина и литература. Истина рассечена, но это продлится недолго. Как только мы перестанем досаждать нашей власти публицистикой и заявлениями, или хотя бы, когда мы помрем, наши книги вернутся, как вернулись Михаил Булгаков и Бунин.

**ЛК:** Бунин вернулся даже еще при жизни, и какой Бунин: "Окаянные дни"!

**ГВ:** Я думаю, что сейчас вернется Набоков. Найдутся такие энтузиасты, как Симонов, который вытащил Булгакова. У него было это хорошее качество - вытаскивать вещи, которые долго не издавали, - и издать. Такие честлюбивые люди всегда найдутся, которые сочтут для себя какой-то честью впервые напечатать Набокова, протолкнуть. А дальше пойдет постепенно. Он уже безгласен и ничего плохого не скажет против нас,

И в будущем эти два потока сольются, как это и должно быть, в единую русскую литературу.

**ЛК:** Есть литература и не-литература. Мальцев<sup>20</sup>, который говорит, что там не

---

<sup>19</sup> Речь идет о Леониде Бородине, чей роман «Расставание» был опубликован «Посевом» в 1984 году

<sup>20</sup> Юрий Мальцев, «Вольная русская литература», Франкфурт-на-Майне, «Посев», 1976

осталось никакой литературы - совершенно бездарный и невежественный человек.

**ГВ:** Дело заключается в том, что каждый писатель должен для себя решить, какие потери он понесет. Если он пойдет в литературу подцензурную он, конечно, понесет моральные потери, но зато его слово разнесется и невиданных тиражах по всей России. Если он пойдет в Тамиздат, он сохранит свое произведение в целостности, но, увы, в микродозах. Это надо решать.

Есть такие, которые, вообще, этого не могут. Но есть такие, для которых встает вопрос: идти ли им в Тамиздат или все-таки здесь попробовать. Я думаю, что такой вопрос вставал и перед Можаяевым<sup>21</sup>, когда его шесть лет не печатали. Его повесть, хорошая повесть, вылежала все сроки.

**ЛК:** И Кузькин прекрасный...

**ГВ:** Я с тобой совершенно согласен, что среди наших соотечественников здесь есть то, что я называю "парашный синдром".

В тюрьме у нас было такое; человек попал в камеру и убежден, что все хорошие люди сидят, что на воле остались либо трусы, либо стукачи, либо наши несчастные родственники. Больше никто. Вот это и есть «парашный синдром», некий "эмигрантский синдром". Этот Мальцев - типичный представитель "эмигрантского синдрома". Мы все здесь, все здесь прекрасно. А там они все подцензурные - либо трусы, либо продажные. Он за это дорогую цену платит, если он должен выступать и поносить Сахарова и Солженицына. Это дорогая цена. Все равно эти два потока сольются, как это и должно быть, в единую русскую литературу. Но тут есть другое. То, что в эмиграции новый русский писатель уже не родится. Он - оттуда. Он там рождается. Я думаю, может быть, среди солдат Афганистана растет Толстой... Это какое-то и социальное, и политическое...

**ЛК:** [Саша Соколов там написал все – зачеркнуто]. Саша Соколов – это чистый Тамиздат. [Саша Соколов написал «Школу для дураков» в Москве, делал это для Карла Проффера... и увез. А Саша Соколов женился на этой... Вся эта история на моей шкуре шла... - зачеркнуто]

**ГВ:** Но нет, так рассуждать нельзя, что если цензура, то уже - все, ничего не может быть. Может быть! Дело в том, что наши русские писатели - профессионалы, они умеют протащить сквозь цензуру. И читатель - тоже

---

<sup>21</sup> Речь идет о повести «Живой», опубликованной под названием «Из жизни Федора Кузькина»: «Новый мир», номер 7, 1966.

профессионал. Он тоже умеет читать. Он с полупонамека понимает, что здесь хотел сказать автор. Они понимают друг друга. И вот этот симбиоз: писатель - читатель, все равно продолжается.

**ЛК:** Я совсем еретическую вещь скажу: для некоторых литераторов свобода оказалась очень опасной, потому что там стремление преодолеть цензуру в поисках цели содействовало известной изощренности в слове. А тут можно все! Оказалось же, что всего-то не так уж и много.

**ГВ:** Можно не доказывать художественными методами, а просто крикнуть: «Долой советскую власть!» И кричи на здоровье. А ты попробуй расскажи, докажи сюжетом, характером, какими-то художественными средствами.

**ЛК:** Это судьба Кузнецова. Страшная судьба. Человек он очень талантливый, а что случилось с «Бабьим Яром»<sup>22</sup>, когда он его здесь напечатал со всеми цензурными купюрами, восстановил якобы?! У меня такое ощущение, что он не только восстановил то, что было изъято цензурой, но еще и дописал. И были убийственные рецензии. В рецензии одного серьезного критика было написано: «Это странное издание доказывает высокий вкус советской цензуры». Потому что без этих вольностей было цельное художественное произведение, а сейчас много риторического. Это было сильное, цельное произведение, художественный репортаж, художественное исследование. Это впервые было...

**ГВ:** А здесь сгорел человек. И Битов сейчас - это писатель между Самиздатом, Тамиздатом и печатной литературой. Страшно быть между этими шестеренками. У Гроссмана то же самое было. Он не должен был реализоваться. Он тоже выходил в Тамиздат. «Все течет»<sup>23</sup> было в Тамиздате сначала.

**ЛК:** Расскажи о Солженицыне:

**ГВ:** Трижды я встречался с Солженицыным, и трижды он представал передо мной совсем другим человеком.

Помню, в первый раз это было в 68-м году, летом. Я уже выступил за него, и мы переписывались, но еще не виделись. И он пришел в тот знаменательный день, когда из «Граней» поступила телеграмма о том, что они... - Виктор Луи

---

<sup>22</sup> Кузнецов Анатолий. Бабий Яр. Роман-документ, «Юность», М., 1966. № 8—10, а затем книга была издана издательством «Молодая Гвардия», М, 1967 год. Неподцензурное издание, о котором говорят Копелев и Владимов, было в издательстве «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1970

<sup>23</sup> Роман Гроссмана «Все течет» был впервые опубликован в издательстве «Посев», Франкфурт—на-Майне, 1970

передал за границу «Раковый корпус»<sup>24</sup>. И Твардовский вызвал Солженицына. Именно в этот день мы с ним встретились в «Новом мире» и познакомились.

Я сидел у Софьи Ханаевны и ожидал, когда освободится Твардовский. По поводу романа я приходил, продлевать договор на год.

Вошел человек, высокий, в темном костюме, величественный. Мне он показался ростом с дверь. И я почему-то сразу понял, что это Солженицын, хотя Софья Ханаевна, не отрывая головы от машинки и продолжая печатать, небрежно ему отвечала. Она, видимо, очень переживала, потому что Твардовский шумел по поводу этой телеграммы. А она всегда принимала сторону Твардовского, и честно была недовольна Солженицыным. Она очень небрежно говорила ему: «Александр Трифонович занят!» - «Когда освободится?» - «Не знаю!». И он покорно вышел. Я спросил у нее: «Кто это?» И она, тоже не отрывая рук и головы от машинки, сказала: «Солженицын».

Тут я вылетел за ним: «Александр Исаевич, здравствуйте!» «Здравствуйте». – «Я такой-то». – «А, тогда очень приятно». Мы разговорились. И тут же он стал меня учить. Вот это первая черта, которую я в нем увидел. Он стал расспрашивать меня о моем романе. Я говорю: рыбаки, море, то да се. «Какой объем?» Я говорю: «500 страниц». – «Надо 350!» - «Почему 350? - удивился я. - Ну, постараюсь сократить». Тут я совершил ошибку. Я спросил его, по какому поводу он к Твардовскому идет. «Да, вот, появился на Западе "Раковый корпус" и ходят такие слухи, что я это передал». И я эдак простодушно его спросил: «А вы не передавали?» Я ему хотел дать такой совет, что факт передачи должен быть, так сказать, узаконен, т.е. засвидетельствован. Если нет факта передачи, значит - все погребло. Но он воспринял этот мой вопрос, как провокационный. В нем мгновенно проснулся зэк: он весь замкнулся, глаза потемнели. «Нет, нет, ничего я не передавал».

Это была первая встреча.

Вторая произошла, когда уже набирался в печать роман «Три минуты молчания»<sup>25</sup>. Тоже было лето. Солженицын пришел уже в легкой рубашке, в дачном облачении сообщить о том, что его избрали в Академию, даже в две Академии. И тут он был какой-то маленький, худенький, ловкий, как обезьянка, с очень ловкими, рассчитанными, не суетливыми, но очень ловкими и быстрыми движениями и быстрым голосом. Того величественного человека в костюме с галстуком не было. Я как-то удивился: он как будто бы был напуган и стал ниже. Особого разговора не было. Он только меня поздравил, сказал: «Ну, как, прошло цензуру?» Я говорю: «Да, прошло, печатается». – «Ну, слава Богу, слава Богу, я поздравляю!». Вот так было.

А третья встреча наша произошла, когда снимали Твардовского<sup>26</sup>, и

---

<sup>24</sup> В 1968 году Луи без разрешения автора переправил на Запад рукопись «Ракового корпуса», о чем А.И. Солженицын писал в книге «Бодался теленок с дубом»: М., «Согласие» 1996, стр. 202-205

<sup>25</sup> Это было в 1969 г.

<sup>26</sup> Февраль, 1970 год.

Твардовский сидел еще в «Новом мире» в своем кабинете наверху, а внизу у Аси Берзер творилась такая Ходынка. Все в пальто... Пальто свалены были. Все ходили. Кто водку, кто колбасу тащил. И все обсуждали, что делать, как спасти Твардовского, чтобы сохранить его в "Новом мире". Все стояли внутри, в центре комнаты, человек двадцать.

И вот я увидел, что по плинтусу этой комнаты ходит человек, заложив руки за спину, в каком-то странном таком, как «ХБ»<sup>27</sup>, плаще брезентовом с капюшоном, как такой заготовитель сельский. И вот так вот ходил, заложив руки, по плинтусу, по периметру этой большой комнаты и не принимал участия в разговоре. А потом подошел, послушал и, подняв палец, всем нам сказал: «А с чего это началось? Это началось с Чехословакии, когда интеллигенция обосралась!». И все как-то так растерялись. Я ему только сказал: «Александр Исаевич, но мы ждали вашего сигнала!» На него это как-то нехорошо подействовало. Он только взглянул быстро, ни слова не ответил и продолжал опять ходить.

Потом он ко мне подошел, уже когда несколько поразошлись, и спросил... Это было после его письма...

**Наталья Владимова:** Довольно мерзкого и довольно гнусно посланного письма в открытом виде! Он его оставил в «Новом мире» в открытом виде, и все знали до того, как его Владимов получил!

**ЛК:** Это было просто хамское письмо! Он мне рассказал, сказал: «Возьми прочитай». Я прочитал и сказал: «Это письмо хамское! После того, что он написал о тебе! Если бы ты даже так думал, то не имеешь права так писать!»

**ГВ:** Письмо, которое ни один писатель другому писателю еще пока не писал, о том, что роман этот, вообще, не следовало писать - вне зависимости от его достоинств или недостатков.

Он подошел и сказал: «Вы на меня, наверное, обиделись за то письмо?» Я сказал: «Ну, конечно, в общем...» - «Нужно смотреть на вещи шире!» Я говорю: «Ну, как же я могу смотреть на вещи шире, если меня другой писатель не читает и даже говорит, что не следовало этот роман и писать!». Он опять сказал: «Надо смотреть на вещи шире!» - «Ну, все-таки, Александр Исаевич, вы говорите, что море - это закоулок русской истории, а что раковая палата - столбовая дорога русской истории?». И опять он ничего не ответил. Это был последний наш разговор. Больше я его не видел.

Вот три мои встречи с товарищем Солженицыным.

Когда ему вручали Нобелевские знаки, он прислал мне приглашение.

---

<sup>27</sup> «ХВ» – Хлопчато-бумажные рукавицы с брезентовым наладонником

Написано было, правда, по трафарету. План приложил. Все кроки<sup>28</sup> были вычерчены удивительно: как к ним прийти, как миновать посты, как лучше подойти к дому...

Конец интервью

\*\*\*\*\*

Письмо, написанное к 75-летию юбилею Льва Зиновьевича Копелева.

«АПРЕЛЬ 1987

Дорогой Лева!

Есть сведения, что тебя в этот день – 9 апреля – не будет в Кельне: юбилеи тебе не по душе. Признаться, и у меня от этих круглых и полукруглых дат, делящихся на 5 без остатка, как кажут украинцы «свэрбыть». Как-то излишне напоминают это и верстовые столбы, что дорога, увы, с односторонним движением... Однако, не оставлять же юбилеи врагам нашим. Пусть тебе будет утешением, что ты подарил своим друзьям повод хорошо выпить и чем Бог послал - закусь.

75 – еще не закат жизни, но время подбить первые бабки: что сделано? как прожито? и что дальше?

Если вычертить линию жизни любого из нас, получится, вероятно, замысловатая кривая, близкая к синусоиде. Стыдится ее не следует, известно же, что идти под парусом круто к ветру можно только лавируя. А ветер века был зело крут и многих сажал на камни. В свое оправдание и ты можешь сказать – колебался вместе с веком. Вместе с ним ошибался, впадал в соблазны, питал иллюзии, вместе с ним – прозревал. Но сдается мне, что прозревал ты все-таки раньше других, поскольку имел надежный компас /настаиваю на ударении/. Это - твоя доброта, доверчивость к людям, всегашнее желание и умение – видеть из лучшими, чем они есть. Таких нравственных зубров сейчас поискать: их следует, по-видимому, занести в Красную книгу и ежегодно подсчитывать, сколько осталось. Этот твой компас безошибочно тебе подсказал, что с побежденными, какие б они не были, нельзя поступать по-свински, он же провел тебя невредимо для души через дантовы круги Архипелага и притягивал к тебе людей, готовых сражаться за твою свободу, рискуя собственной, он же в свой час вывел тебя к «Новому миру», крохотной заповедной гавани, где еще ценились рыцарские добродетели и свобода духа. Сожалеть ли, что бывши на стороне гонимого, ты

---

<sup>28</sup> Кроки (удар. на последнем слог) от фран. *croquis: croquer* - чертёж участка местности с обозначенными главными объектов.

и сам оказался среди гонимых, получил в награду статус изгнанника? И конец ли это? Не думаю. Просто еще одно испытание – может быть, самое тяжкое, судя по тому, что его не выдерживают самые закаленные бойцы. Ты его выдерживаешь с честью, и мы, твои друзья не завидуем, а гордимся твоей популярностью, как своей собственной, как некоей компенсацией нашего общего несчастья. Я, так об одном сожалею: что познакомились мы поздно – из-за моей «несветскости»? или черт его знает, почему – а ведь двигались параллельными курсами! Может быть, как раз в тот день, 7 декабря 1954 года, когда ты вышел на волю из ворот «шарашки», выскочил 12-ый номер «Театра» с моей статьей о «Годах странствий» Арбузова, определившей мой жизненный путь. Может быть, не раз, друг друга не зная, сталкивались мы в двухэтажном флигеле на Пушкинской площади или в Путинковском переулке.

Однако же, твое присутствие я всегда чувствовал, и железная закономерность была в том, что мы все же оказались вместе в тот исторический день, когда из Москвы увозили Сахарова. Были потом твои телефонные прорывы ко мне в Москву, ощущаемые, как артподдержка на плацдарме, когда под ногами земля горит, твое громогласное заступничество, твои и Генриха Белля телеграммы, которые не посмели мне не доставить и перед которыми попятилась-таки гончих стая, - для тебя обычное дело, одно из многих твоих добрых дел, но для меня – неожиданный подарок, обретение настоящего друга, которого я мог бы и упустить. К счастью, этого не случилось.

Чего пожелать тебе, дорогой Лева, в твой вершинный день? Как будто все есть у тебя /кроме России/ - верная и любимая спутница, дети и внуки, крыша над головой, достаточно книг на своей полке. Но знаю, как мучит тебя, что родные тебе люди разбросаны по разным континентам, и не собрать их ныне за одним столом. Пожелаю, чтоб это было последнее Ваше разобщение, чтобы не позже следующего апреля сбылась твоя мечта: всех сразу увидеть, обозреть непрерывность рода - то естественное и необходимое, чего едва не лишила тебя жестокая наша мать-родина. Еще пожелаю тебе ценности пускай банальной, но не знающей девальвации и повышающейся год от года – здоровья. Пусть твоя рука твердо держит перышко, а глаза видят написанное. Желаю тебе, чтобы еще долгие годы ты ощущал простую радость существования и чтобы оставался таким, какой есть – жадным до жизни, любопытствующим и мудрым, неутомимым в поисках истины.

Крепко обнимаю тебя и Раю.

*Твой Георгий Владимов (подпись)*

(приписка от Н.Е. Кузнецовой)

Дорогой Лев Зиновьевич!

Поздравляю, обнимаю, целую, желаю многие лета

... И примкнувшая к нему Наташа

*Наташа (подпись)*

*Публикация Светланы Шнитман-МасМиллин*